

ЛЯМАН БАГИРОВА

Р А С С К А З Ы

Мартынка или чудесное превращение

Реальная история

Когда в эпоху не так давно минувшую (что для истории каких-нибудь 30 лет!) мне говорили о людях, способных на подвиг, я вспоминала об этом человеке. В самом слове «подвиг» есть что-то величественное, бряцающее и громкое. Ничего подобного в Мартынке не было. По-настоящему звали его не так. Более того, ничего общего его имя с «Мартыном» не имело. Тем более с «Мартынкой».

Назван он был в честь деда именем Марат. Деду вздумалось появиться на свет в суровом 1920 году в семье неистовых романтиков-революционеров. Родители желали наречь первенца Жанпольмарат – в одно слово, но старшее поколение яростно воспротивилось. В результате бурных дебатов и ожесточенных домашних боев решено было остановиться на просто Марате. Очевидно, младенец вместе с именем унаследовал не только революционный пыл воинственного француза, но и его слабое здоровье. В ванне он, правда, не сидел, и не был, к счастью, в ней заколот, а мирно окончил свои дни на собственной даче. Но всю свою жизнь Марат-старший мучился слабым желудком и дерматитом, но, невзирая на это, бурлил инженерными и архитектурными идеями. Некоторые из них претворялись в жизнь и поощрялись премиями и наградами. К концу жизни Марат-старший был заслуженным строителем и скончался, окруженный печальной родней.

Через пять месяцев после упокоения Марата-старшего в мир явился его внук, Марат-младший. Он не унаследовал от деда ничего, кроме имени. Насколько дед был предприимчивым, отважным и смелым, настолько внук был тихим, робким и забытым. Он даже появился на свет не с яростно-жизнеутверждающим криком «Я-а-а-а!!!», а с деликатным вздохом: «Ай-йа...», словно заранее определяя свое вечное второе место в этом мире. Да какое там второе; восемнадцатое, триста двадцать пятое, но только не первое! «Знай сверчок свой шесток» – будто предназначала ему природа, и, казалось, он абсолютно не возражал против этого.

Даже мать, а матери больше жалеют и балуют самого слабенького из детей, считала его своей неудачей, называла недалеким, убогим. Он раздражал ее уже своим присутствием.

– Ну, чего рот разинул, опять ворон считаешь! – в сердцах кричала она ему.

– Все дети как дети, давно поели, а он все мусолит несчастную кашу! Да-ай сюда! – и тарелка с недоеденной кашей с грохотом сваливалась в раковину. – Вон из-за стола, копуша! О, Господи! Вот идиот на мою голову!

Марат не протестовал ни против злобных окриков, ни щипков, ни шлепков, ни даже отцовского ремня. «Значит, за дело», – думал он, медленно потирая побитое место. Он вообще все делал медленно. Медленно ел, медленно одевался, медленно говорил, ходил, да и соображал медленно. Он не был убогим, просто был тугодумом, но это злило и раздражало близких и смешило соседей.

– В кого он такой? – ворочалась без сна мать. – К врачу водила, он говорит, все нормально, но это же сколько терпения надо, пока ему что-то объяснишь. Господи, другие дети как дети, все на лету схватывают, а с этим пока несчастный стишок учишь, семь потов сойдет.

– Дурь! – басил муж. – Дурь и лень! Спи и не забивай себе голову. Ремня ему хорошего, и все стихи запомнит. Я за него возьмусь, выбью лень.

– Да били уже, и что толку, – вздохнула мать. – Все то же. Так и проживет всю жизнь с разинутым ртом, и не заметит, как без ничего останется!

– Я за него возьмусь, – бурчал отец, засыпая.

«Мартышкой» же он стал случайно, в седьмом классе. Так едко окрестил его учитель географии. Отчаявшись донести до Марата понятие о круговом азимуте, он попросил подать ему губку для доски.

Марат и тут оплошал. Проклятая скользкая губка почему-то затанцевала в руках и несколько раз упала на пол. Импозантный, щеголевато одетый учитель с минуту наблюдал неравный бой Марата с губкой, вздохнул, и с его губ впервые сорвалось:

– Садись... Мартын.

В классе хихикнули.

– Я не Мартын, – почти через минуту пробасил Марат.

– Неужели? – насмешливо протянул учитель. – А мне кажется, именно Мартын.

И знаешь, почему?

И, выждав эффектную паузу, он поведал:

– Был у какого-то барина слуга по имени Мартын. Как-то приходит он к своему господину и спрашивает: «Барин, Бориска больше меня денег получает, а работаем мы поровну. Почему так?»

«Сейчас объясню», – говорит барин, а сам к окну подходит и Мартына за собой зовет. А из окна холм большой виднеется. «Видишь, во-он там на вершине холма темное что-то, – говорит барин. – Наверно, кто-то на ярмарку или с нее едет. Сбегай-ка, Мартынушко, разузнай!».

Побежал Мартын и вскоре вернулся, запыхавшись.

«На ярмарку, – говорит, – мужик едет».

«Хорошо бы узнать, что везет», – говорит барин.

Мартын побежал снова, разузнать.

«Овес везет продавать», – сказал он, возвратившись.

«А почему?» – спрашивает барин.

Мартын побежал в третий раз.

«Два рубля за четверть», – говорит.

«А не отдаст ли за рубль?» – говорит барин.

Мартын в четвертый раз побежал.

«Отдаст».

«А хороший ли овес у него?» – чешет в затылке барин.

В пятый раз побежал Мартын.

«Хороший, барин, отборный».

«А не привезет ли сюда, во двор? – продолжает барин. – Я бы взял все».

Пришлось Мартыну в шестой раз бежать.

«Привезет, коли еще полтинник накинута».

«Ладно, беги, скажи, чтобы привозил», – согласился барин.

Мартын побежал в седьмой раз. Барин наконец сторговался, купил овес и говорит:

«Отдохни, Мартынушко, забегался, поди. А мне Бориску покличьте».

Вот приходит Борис. Барин и его к окну подводит:

«Глянь-ка, снова на холме виднеется что-то. Небось на ярмарку или с нее едут.

Сбегай-ка, Бориска, разузнай!»

Побежал Борис, вернулся и говорит:

«Мужик на ярмарку, барин, едет, пшеницу шесть четвертей везет продавать.

Четверть по полтора рубля отдать хочет, но пшеница у него плохая, а вот еще везет

он две четверти ячменя, так тот отборный, крупный. Хорошо бы весь взять. За ячмень четыре рубля хочет, я сторговался за три, да еще два гривенника накинуть, чтобы во двор привез. Да вот он уже и во двор въезжает».

Отдал барин Борису три рубля и два гривенника, чтобы тот расплатился, а сам Мартыну говорит:

«Понял теперь, почему Бориска больше тебя получает?! Иди, и впредь ко мне за этим не приходи!»

– Теперь понял, почему ты – Мартын? – победно сверкнул очками учитель.

– Ха-ха-ха! – расхохотался класс.

– Я не Мартын, – наклонив голову, медленно пробурчал Марат, но его слов никто не расслышал. Они потонули в хохоте. Кличка «Мартын» прилипла к нему мгновенно. А потом сменилась на более обидную – «Мартынка».

И хоть бы слово протеста. Хотя бы тень ропота. Нет, смиренной душе будто неведомы были гнев, ярость, возмущение. «Мартынка» так «Мартынка», он не сопротивлялся.

Он вообще не сопротивлялся судьбе. Школу окончил не то, чтобы с трудом, но при вручении аттестатов директор с заметным облегчением вздохнул:

– Ну, Марат, поздравляю. Одолел ты десять классов.

И это было правдой. Он действительно не дошел, не добрался, не доковылял, а одолел.

В армию его не взяли по причине сколиоза и плоскостопия. Марат и тут подвергся насмешкам. Это было то время, когда не служить было позорно. Не взяли в армию, значит – ущербный. За такого и девушку из приличного дома отдать поостереглись бы. Да и сами девушки охотнее выбирали бравых дембелей, щеголявших в форме, чем унылых ботаников. Тем более таких, как Марат. Да что с него взять – Мартынка и есть...

В вуз, на истфак, он феерически проваливался два раза. И оба раза по одной и той же причине – довел до белого каления приемную комиссию. Обиднее всего то, что по любимому предмету – по истории. У Марата была хорошая память на даты, история давалась ему, но ответ на вопрос выглядел примерно так:

– У вас что в билете? Первый вопрос?

– У-м-м-м, э-э-э-э, битва, э-э-э при... (тут Марат погружался в раздумья и застыл с билетом в руке)

– Битва при чем?!

– Э-э-э-э...м-м-м...

– Вы будете отвечать или нет?

– А? Да-да! При, э-э-э, Калке.

– Слава Богу! Мы вас слушаем.

Но слушать было затруднительно. Ответ Марата по сути представлял собой сплошной поток сознания. Он упоминал о дате битвы, а потом его снова накрывала волна раздумий. Бог его знает, сколько монгольских, русских и половецких конниц скакало в данную секунду в его мозгу, но отвечал он невнятно, мялся, краснел, сопел, сутулился еще больше. Потом почему-то поток его сознания перескакивал с Калки к Грюнвальдской битве, затем к ним приплеталась Столетняя война. В общем, это был какой-то чудовищный канкан из исторических дат и событий, абсолютно не связанных друг с другом. Терпению комиссии приходил конец, она единодушно срезала Марата и вздыхала с облегчением.

– Горе ты мое! – ахала мать. – Господи, что же с тобой будет?..

– Ничего, пусть работать идет, как раз в магазине грузчики нужны. Если не получается работать головой, пусть работает руками, – язвил отец.

– Куда ему в грузчики? – плакала мать. – Ты посмотри на него! Это не человек, это студень! Слава Богу, что другие дети умные, тьфу-тьфу!

Старшие брат и сестра Марата действительно учились прекрасно, забот родителей не доставляли.

– Не плачь! – рявкал отец и отправлялся брать со старших торжественное слово, что они не бросят «этого идиота» после родительской смерти, иначе тот погибнет от голода, а их совесть замучает!

Марат слышал из-за закрытой двери голоса родных, но словно и душа его была за закрытой дверью. И голоса, и волнение, и плач матери, и язвительность отца доносились до него как сквозь толщу воды. И чем больше бурь и тревог было вокруг, тем больше душа его погружалась в безропотность. Чему быть, того не миновать, так чего зря изводить себя?..

Иногда, правда, Марат начинал жалеть себя. Рисовал себе картины собственной смерти: как красиво он лежит в гробу – важный, бледный. Темные волосы оттеняют мраморную гладкость лба. Навсегда закрытые глаза затканы черной тесьмой ресниц. Боже, как все образно, как величественно и печально! Вокруг ходят заплаканные близкие, приходят соседи, знакомые. Все жалеют безвременно угасшую молодую жизнь и клянут себя за то, что были жестоки и грубы с Маратом. Но поздно, поздно... И вот Марата увозят к месту последнего упокоения, вот погружают в рыхлую (сухую, твердую, промерзшую – в зависимости от времени года!) землю, и вот он слышит над собой последние рыдания и удаляющиеся шаги. И... остается один. Тут Марату становилось не по себе. А потом он представлял, как родители и брат с сестрой вернутся домой и будут заплаканные, растерянные бродить по комнатам и некого даже будет отругать: «Где ты, о Господи, опять зазелался на что-то?!» Тут у Марата начинали нестерпимо чесаться глаза и сердце заходило уже от жалости к родным. Поэтому видения смерти откладывались, тем более, что в них врвался визг матери:

– Сколько можно звать?! Я не знаю, что сейчас с тобой сделаю!!! Я с тобой горю или нет?! Иди есть или я сейчас тарелку тебе на голову надену!

Так и жил Марат в полусне-полуяви, пока не выпала ему возможность совершить свой подвиг. Или просто судьба его так направила.

Случилось это когда он, отчаявшись поступить в вуз, подался в педагогический техникум. Или звезды сжалились над ним, или педагоги разомлели от жары и не обращали внимания на его ответы, но он был зачислен. Родители только дружно вздохнули, причем непонятно было, чего больше в их вздохе – облегчения или удивления. Однозначно обрадовались этому только брат и сестра: Мартынка получит какую-нибудь профессию и не будет висеть на них тяжким грузом, и совесть их не замучает!

Возвращался Марат осенним вечером после последней лекции, и дорога его лежала через небольшой парк с озером. Сотни раз он проходил мимо этого озера и никогда особо не глядел на него. Водоем как водоем – летом уточки плавают, зимой – наледь, осенью – свинцовая рябь, весной – зеленоватые волны. Что еще? Камыши вокруг, парочки, жаждущие уединения, культурно отдыхающие на троих граждане, мамы с колясками, бабульки с авоськами. Иногда, впрочем, в озере ловили пескарей и плотвичку. Но Марата мало интересовало окружающее. Он шел медленно, и мысли его были медленными, ленивыми и сонными.

Но в этот вечер одинокая мужская фигура у самой кромки воды привлекла его внимание. Марат, вобрав голову в плечи, прошагал мимо, потом еще больше замедлил шаг, вернулся. Ветер сильно раскачивал фонарь у гаражей, и оттого казалось, что озеро освещает прожектор. Фигура стояла недвижимо, и в свинцовом блеске воды выглядела жутковато.

– Не надо, – вдруг вырвалось у Марата. Он не знал, почему произнес эти слова, но был уверен: сейчас они необходимы. – Не надо, – повторил он.

Фигура обернулась. В сморщенном худом человеке Марат узнал своего учителя, того самого, что когда-то окрестил его Мартыном.

Учитель глядел на него неосмысленно. Он не узнал своего ученика.

– Не надо, Григорий Викторович, – уже громче и увереннее произнес Марат и шагнул вперед. Плечи его расправились. – Дайте руку!

Учитель наконец разлепил серые губы:

– Марты.. Марат?!

– Дайте руку! – властно повторил он.

Старческая рука была ледяной. Видно, старик давно стоял здесь. Из одежды на нем были только потертые джинсы, байковая клетчатая рубашка и разношенные кроссовки.

– Пойдемте, Григорий Викторович. Обойдется все. Вы замерзли, пойдемте, мама вас накормит, чаем напоит. Идемте.

Старик вдруг жалобно скривил губы и уткнулся в ворот Маратовой куртки.

– Ах, Мартын, ты мой Мартынушко, – всхлипнул он и задрожал.

И больше ничего не говорил, кроме судорожного: «Мартынушко!».

Марат накинул на него свою куртку, подхватил на руки сухонькое тело и почти побежал к дому.

Домашние ошеломленно следили за тем, как вечно забытый Марат отдавал распоряжения:

– Григорий Викторович поживет пока у нас, хорошо? Я ему на своей кровати постелю, а сам буду на раскладушке. Мама, ему бы ванну горячую и чай с малиной, чтобы не простудился!

Когда распаренный, накормленный, в чистых Маратовых штанах и рубашке старик сидел на кухне и пил чай с малиной, к нему попытались было подступить с расспросами. Но он только глубоко вздыхал и вздрагивал всем телом. Видно было, что за последние дни он впервые поел горячую пищу, да и вообще наелся досыта.

Истина выяснилась через несколько дней и оказалась простой и страшной. Одинокого вдовца старика обманули соседи, пообещав приглядывать за ним, если он отпишет им квартиру. Квартира была отписана, но приглядывать, как оказалось, никто и не собирался, и он вскоре оказался на улице. И дальше – сплошное «нет». Дома – нет, близких – нет, жена – умерла, работы – нет, сбережений – нет: какие могут быть сбережения у школьного учителя географии с мизерной пенсией.

Но главное-то, как оказалось, не в этом! Марата будто подменили! Это был уже не Мартынка – медлительный сутулый тугодум, вечно мялящий, сопящий, витающий в эмпиреях. В нем словно воскрес дед – Марат 1-й, с его энергией и работоспособностью. Воскресал он осторожно; Марат 2-й словно и сам изумлялся этой метаморфозе, но подчинялся ей.

Он так трогательно опекал старика, что родители только руками разводили и благодарили Бога за чудесную перемену в сыне. А отец даже несколько раз поставил его в пример другим детям.

– И вообще, – добавил он глубокомысленно, – с таким братом вы никогда не пропадете!

Но Марат на простой заботе не остановился. Он решил вернуть учителю квартиру и доказать, что сделка с соседями была незаконной. От походов в прокуратуру его отговаривали всем миром, начиная от самого Григория Викторовича и слез матери и заканчивая соседями по дому. Говорили, что ничего из этой затеи не выйдет, и все судьи давным-давно куплены.

Напрасно. Сильного человека можно заставить изменить свое мнение, но если упрется слабый... А Марат был силен в своей слабости!

И случилось невероятное! Но отчего же судьбе иногда не быть щедрой на подарки?! Суд через четыре месяца разбирательств признал незаконность сделки и восстановил старика в его правах. Правда, бывшие «добрые соседи» проклинали учителя и его благодетеля на чем свет стоит, но это были уже такие мелочи...

Летний день, когда в доме Григория Викторовича за обеденным столом собралась семья Марата и несколько соседей, был тихим и нежным. А вот счастливым ли?.. Послушаем-ка самого хозяина дома:

– Дорогие мои! Я был абсолютно счастлив в своей жизни несколько раз. Первый раз, когда мама купила мне сахарное мороженое. Это было очень давно, мне было три года, я шагал и думал, что это самая вкусная вещь на свете. Второй раз – когда женился. Третий раз – это сейчас. Но, оказывается, я стал счастливым по-настоящему, когда встретил Марата. Если бы не его медлительность тогда, то неизвестно, что было бы со мной. Если самый большой подвиг в том, чтобы спасти чью-то жизнь, то Марат совершил его. И я горжусь своим учеником.

...Давно это было. Но и сейчас, когда мне говорят о людях, способных на подвиг, я вспоминаю небольшого сутулого человечка, медлительного и робкого до отращения. И того, кем он стал потом – уверенного, сильного, целеустремленного. Блестяще окончившего истфак и защитившего диссертацию. Прекрасного педагога, спортсмена и отца семейства.

И не устаю удивляться причудам судьбы, бывающей то жестокой, то нежной, то злобной, то милостивой. Ну так Судьба – как женщина: переменчива...

Музыка осени

Низкорослый полный человек запер за собой дверь в лавку и остановился на пороге. На него дохнуло нежилым духом полуподвального помещения. Кое-где в углах виднелись разводы от сырости. Повсюду были навалены коробки, мешки, пакеты. Свернутые в рулоны ковры валялись, как бревна. От них пахло теплым и душным запахом шерсти и керосина. Но в этом хаосе человек чувствовал себя лучше, чем дома. По сути, он и домой приходил только спать.

Это был очень смуглый и, судя по облику, очень уставший человек. Усталость разлита была в обмякшей фигуре: черная футболка обрисовывала вислый живот и складки жира на спине. Обувь была сильно потерта и стоптана с внешней стороны – при ходьбе он косолапил, и к вечеру ноги наливались свинцом. Но больше всего усталости было в лице – в тонкой складке губ, морщинах на лбу, таких глубоких, что они казались иссиня-черными, и больших, как сливы, черных глазах. Уголки их были опущены вниз, оттого казалось, что человек вот-вот заплачет.

Но вместо плача человек надкусил плитку шоколада и с любовью огляделся вокруг. Все было ему знакомо, каждая вещь имела свою историю. Маленький владелец антикварной лавки, он и сам не помнил, зачем решил еще в 90-е открыть ее.

– Ты прогадаешь, – плакала мать. – Последние сбережения хочешь вложить неизвестно во что? Откуда у людей деньги – покупать всякое старье? И зачем?

– Зачем тебе это нужно? – вторили родственники и знакомые. – Прибыль ничтожная, непостоянная. Только пыли наглотаться среди старого хлама. Если уж так хочешь – открывал бы продуктовый ларек. Больше пользы было бы.

– Он думает, что это будет антикварный магазин. Ха! В лучшем случае – лавка старьевщика. Ветошник! – острили третьи.

Он никого не слушал. Лавка старьевщика – пусть! Люди несли и несли ему отслужившие свое, вышедшие из моды и даже совсем новые, но залежалые вещи – он покупал все. За каждым визитом стояла чужая боль, бедность, страх. Реже – облегчение: как же – со старым хламом расстаются. Но большей частью – любовь.

За долгие годы он научился распознавать ее под маской равнодушия или робости. Люди появлялись на пороге его лавки, и он мгновенно угадывал их состояние. Оно читалось в едва уловимых нервных движениях, по мольбе в глазах, по манере

распаковывать принесенное.

– Что у вас? – спрашивал он, не глядя на посетителей. Трудно смотреть в глаза людям, расстающимся с дорогой реликвией. Он так и не смог стать безразличным.

Приносили разное. Старинные шали с длинными шелковыми кистями, веера с перьями, лампы, бусы, мониста, золототканые скатерти, часы, вышитые туфли и кистеты, кожаные изделия, сервизы, статуэтки, хрусталь, столовое серебро. Тащили граммофоны, чугунные утюги, сундуки, ширмы и даже стиральные доски. И, конечно, ковры всех мастей, расцветок и узоров – ворсистые, гладкие, вытертые и почти новые. Вещей было много, и воздух от них становился затхлым.

Он оценивал товар мгновенно и почти наверняка мог сказать – залежится он у него или сразу найдется покупатель. Как правило, покупателями были иностранцы. Они заходили со скучающим видом, брезгливо тянули воздух и долго присматривались, прежде чем что-то взять. Он терпеливо отвечал на вопросы (пригодилось знание английского), подробно рассказывал о выделке, времени изготовления вещи или особенностях рисунка. Иностранцы оставались довольны и, выбрав что-то, расплачивались и уходили. Дверь за ними затворялась с мелодичным скрипом, словно вздыхала. Будто она тоже была частью товара и ей было жаль расставаться со своими собратями.

А поставщики его товара?.. Как много он перевидал их...

– Понимаете, очень нужны деньги, – сбивчиво лепетала старушка интеллигентного вида. – Я бы никогда не рассталась с этой сахарницей. Она очень старинная, настоящий веджвуд, но деньги очень нужны.

– Ой, это набор вилок, ножей, ложек. Мне подарили их когда-то. Но это такое старье. Вот и решила сдать их сюда – может, кому-то и пригодятся, – кокетливо улыбалась молодая женщина в оранжевом приталенном жакете.

– Прадедушкин самовар. Только место занимает. Сколько дашь, брат? – доверительно сопел ему в ухо рослый детина. В его руках громадный самовар выглядел детской игрушкой.

– Я его выкуплю. Скоро поправим дела, и я его обязательно выкуплю, – женщина средних лет дотрагивалась до туго свернутого маленького паласа. – Это ручная работа, его моя бабушка ткала. Я его выкуплю, – твердила она как заклинание.

Торговец кивал, уверял, что так и будет. И они уходили, бросив прощальный взгляд на свое добро. Он ждал, пока за ними закроется дверь и молча расставлял купленное по углам и полкам. За все эти годы никто так и не вернулся за своими вещами.

Он полюбил их. Он даже сроднился с ними – с маленьким полуподвальным помещением, полумраком и грудой старья. В душе он даже называл его – «мои сиротки». Железные, кожаные, фарфоровые и тряпичные «сиротки» задумчиво поблескивали со стен и углов, и в тихом блеске их чудилась благодарность.

От яркого света болели глаза. Он и раньше недолго любил электричество, и сейчас зажигал яркий свет только если кто-то входил в магазин. В электрическом свете вещи утрачивали волшебность, становились просто хламом. В эти минуты он особенно остро жалел своих «сироток». Они напоминали ему сильно пожилых женщин, которые еще хотят нравиться. Но яркий свет безжалостен к их ухищрениям – для уходящей красоты нужны свечи. Только они, с их мягким мерцанием, способны вернуть былую прелесть. Да и то – если расставить их правильно.

В этот осенний день покупателей не было. Они и без того захаживали нечасто, но в последние дни словно вымерли. Обезлюдела городская площадь, многие магазины были заперты, а те, что работали – закрывались рано. Продавцы торопливо и сосредоточенно спешили домой. Вообще торопливость и сосредоточенность стали признаком времени. С такой же торопливой сосредоточенностью ветер гнал по площади палые листья. Они закручивались в воздухе разноцветным комом и, шурша, мчались куда-то. От этого становилось тревожно.

*Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре, –*

вдруг всплыло со дна памяти. Он усмехнулся. Стоило заканчивать филфак, чтобы стать торговцем в антикварной лавке. Хотя 90-е – чем не бесовский вихрь, когда все сметалось, рушилось и переворачивалось с ног на голову. Только кружились не палые листья, а люди.

Он неспешно очистил гранат и стал есть. День угасал. В синих сумерках рубиновые зерна казались черными. «Так и в жизни, – невольно пришло ему на ум, – яркие краски юности постепенно сменяются холодными и строгими, а затем и вовсе чернеют». «Сиротки» важно поблескивали со стен, будто соглашались. Сейчас он доест гранат, закроет дверь и пойдет домой. Еще один день прошел. «Сиротки» будут спать до завтра. И, скорее всего, это завтра будет таким же, как сегодня.

Дверь звякнула с мелодичным скрипом. В лавку вошла молодая пара. Мужчина остановился в дверях, а женщина подошла к прилавку и в нерешительности огляделась.

В воздухе легко повеяло жасмином. На мгновение подумалось: так и должно благоухать молодое счастье – нежно, остро и тонко. В том, что это супруги, торговец не сомневался. Только у любящих молодоженов такие светлые, безмятежные лица.

– Что вы хотели? – он немного испугался своего сиплого голоса – намолчался за день.

– У вас есть, – она замялась, – м-м, что-нибудь такое, с этническими узорами?

– Что именно? Ковры, посуда, лампы?

– Нет, что-нибудь маленькое, как сувенир, но чтобы выглядело как настоящая вещь.

Женщина явно не знала, как выразить свою мысль, и улыбнулась. У нее была хорошая улыбка доброго и открытого жизни человека. Он пришел ей на помощь.

– Можно взять ножи в кожаных футлярах. Это настоящая кожа и старинная вышивка на ней. Адыгейский узор. Рукоятки ножей тоже украшены. Вот небольшие вазы, тарелки, кувшины – тоже с росписью. Есть шали и небольшие скатерти с национальным орнаментом. Подушки, чеканки, кубачинская работа...

– Нет, нет, – она смешно наморщила носик. – Не надо никаких кинжалов. И остального тоже. Вот если бы... Знаете, когда-то моя бабушка продала в таком же магазине узорчатые туфли. Такие восточные, без задников. Они были с острыми носами и все расшитые золотом. У них еще смешное название – бабуши. Их подарили бабушке на свадьбу. Она их не надевала никогда, хранила как сувенир. Я иногда ими играла. Мне тогда было очень смешно: бабушка продала бабуши. Но на самом деле это было грустно. Денег не хватало, вот и продала. Она одна меня растила. Она купила тогда продукты, приготовила много еды...

Глаза женщины чуть затуманились, но она улыбнулась и продолжила:

– Бабушка никогда о них потом не вспоминала. Но я подумала, что обязательно куплю ей такие же туфли, когда вырасту. А сейчас... Уже просто куплю, если повезет... Но я хочу именно старинные, не новодел.

– Есть такие! Три пары. – Торговец достал с верхней полки несколько пар остроносых расшитых туфель и смахнул с них пыль. Они были похожи на задумчивых птиц в ярком оперении. – Вот, как по заказу. Одни золотые, другие серебряные, третьи – бисерные. Все старинные. Новых здесь не бывает. Выбирайте!

Мужчина подошел к прилавку, и они с женой вполголоса стали что-то бурно обсуждать. Торговцу явно нравились эти люди. В них было много искренности, чистоты, и усталость еще не исказила их черты.

– Вот эти! – звонко сказала женщина. – Они похожи на бабушкины. Те тоже были золотые, только узор немного отличается, но это ничего. Сколько с нас?

– Нисколько. – Торговец прищурился и отодвинул в сторону блюдечко с недо-
еденным гранатом.

– Но как это? – растерялись оба.

– Ничего, – повторил он твердо. – Я хочу, чтобы вы знали, не все в мире можно
купить или продать. Я хочу, чтобы у вас осталось на память что-то об этой антик-
варной лавке. Возьмите так.

И, всмотревшись в их онемевшие лица, добавил устало:

– У меня сегодня день рождения. Я хочу вам сделать подарок. Имею я на это
право?!

– Правда?! Спасибо! Ой, поздравляем! Как неудобно получилось! Ой, спасибо.
Здоровья вам, счастья, удачи. Чтобы таких продавцов, как вы, было бы как можно
больше! Спасибо! – тараторили они, пока он заворачивал бабуши в тонкую бумагу.

Дверь с мелодичным звоном затворилась за ними. В воздухе остался запах жас-
мина – тонкий запах молодого счастья. Даже «сиротки» на стенах и в углах блестели
как-то празднично.

Он неспеша доел гранат, подобрал все до последнего зернышка, сполоснул та-
релку и стал собираться. Больше покупателей не ожидалось.

«А вовремя это я сообразил с днем рождения, – думал он. – Может быть, ее ба-
бушка именно мне продала свои бабуши. А их купил у меня какой-то турист. Хорошо,
что у меня нашлись похожие».

Он запер дверь и вышел на улицу. Ветер по-прежнему гнал по улице листья.
Они взлетали, подсакивали, с жестяным треском ударялись об асфальт и бежали, бе-
жали, будто некто невидимый и злой подстегивал их. Было холодно и неудобно. Он по-
крепче запахнул куртку и вдруг почувствовал слабый запах жасмина. Видно, куртка
пропиталась им в лавке.

Легкая улыбка тронула его губы. И лицо впервые за долгое время стало от-
дохнувшим и спокойным. Сегодняшний день не прошел даром. Он был наполнен доб-
ром.

А завтра?..

Завтра будет завтра!

Три тоста

Жили небогато, но не нуждались. Сказывалась крепкая порода трудовой семьи,
где два века царил одна вера: «Бог труды любит». Ей было подчинено все. Вста-
вали утром – Отец и четверо сыновей трудились на своей земле. Ее выцарапал себе
в награду еще прапрадед Отца, батрачивший на какого-то князька. Имение у князька
было небольшое и душонка тоже мелкая, он издевался над прапрадедом, как мог, но
под старость вдруг расщедрился и отвалил ему три десятины земли. Да еще произ-
нес слезливую речь, мол, дарю тебе, верный раб мой, живи и пусть род твой живет и
не переведется! Прапрадед, как водится, пополз через всю залу, чтобы к ручке бла-
годетеля припасть, да по дороге чуть коленом вазу китайскую напольную не задел.
«Дурак, куда прешь!» – заорал князек, но милость на гнев не сменил, землю за вер-
ным рабом оставил, разве что пробурчал беззлобно: «Быдло быдлом и останется!»

Милость княжеская оказалась сухой, каменистой, выжженной и бесплодной
почвой. На ней отродясь ничего не росло, кроме чертополоха и неистребимой руты,
да и тех ветер распластывал ровень с нею. И вот с этой почти библейской пустыней
прапрадед повел борьбу. Годами, десятилетиями мотыжил, перекапывал. Из даль-
них озер привозил в корзинах плодородный ил, удобрял, унавоживал. Создавал, тво-
рил, пестовал, протирал в железных ладонях неподатливый грунт.

И откликнулась земля на его старания, повеселела, стала доброй, легкой, ро-
дущей.

Оставил прапрадед, бывший батрак, своим потомкам прекрасно возделанный сад и дом, завещал, как молитву: «Бог труды любит. Работайте и кормитесь» и отошел в лучший мир на деревянной кровати под любимым яблоневым деревом. Случилось это в месяц цветения яблонь, и застывшее лицо озарилось розовым светом. Так простился сад со своим создателем.

И потомки оставались верны завету – не пропали даром труды прапрадеда. И не перевелся род его – сколько поколений босых ног пробежало, прошло, прошаркало по крепким деревянным половицам. И, как две сотни лет назад, все собирались за большим, крепким столом на кухне. Стол прапрадед скототил тоже сам. На века.

Первым, по обыкновению, за накрытый стол садился Отец. Оглаживал крахмальную скатерть заскорузлыми руками – придирчиво оглядывал снедь. Он любил, чтобы всего было как полагается: зелень, сыр, соленья в большой тарелке, хлеб с румяной корочкой. Чтобы от густого супа исходил ароматный пар, а под полотенцем дожидался бы своего часа пирог. Убедившись, что всего вдоволь, Отец еле заметно поднимал правую руку. Это был знаком для семьи. Второй садилась Мать, а следом и дети. Какими бы уставшими ни были, вперед Матери никто не двигался с места. В этом было уважение к ее труду.

Мать вставала засветло и умела, кажется, все: стряпала, стирала, шила, перелицовывала старую одежду, вязала, прибирала, сушила, солила, доила корову, возилась на огороде, делала целебные настойки, помогала детям с учебой и еще успевала вдалбливать в голову сыновей нехитрые железные истины: «учись!», «не обманывай!», «не сиди без дела!», «будь приветлив с людьми», «под других не прогибайся, но и людей от себя не гони».

И выросли сыновья, разлетелись на все стороны света. Не так, чтобы вообще разлетелись, просто один жил к северу от родительского дома, другой – на юге, третий – на западе. А младший, четвертый сын, как положено, остался при родителях. Все обзавелись семьями, стали уважаемыми людьми. Но собирались в родительском доме часто – манил он теплом, уютом и каким-то крепким покоем, будто за его дверьми оставались все тревоги и волнения. И снова дрожали половицы от топота больших, маленьких и крошечных ног. Семья! Радовалась, верно, на небесах уставшая душа прапрадеда-батрака. Не перевелся его род!

Но в этот тихий осенний день собрались за накрытым столом только пятеро. Отец и четверо сыновей. Ни жен, ни детей не было. Даже младший усрал семью погостить к родителям жены.

Не было и Матери. Это был первый день рождения без именинницы. Все положенные поминки давно справили, но сегодняшней стол не был поминальным.

– Она вас вырастила, вынянчила, вот и приезжайте сами, пусть душа ее на вас полюбуется, словно вы еще маленькие, – отрезал Отец. – Посидим один раз только сами, как раньше.

И сели они за накрытый стол. Сыновья постарались – один привез телятины и кур, другой – коробку масла и вкусный жирный сыр, третий – овощей и фруктов. И младший не ударил в грязь лицом – исходили ароматным духом миски с соленьями, мерцало в старинной бутылке домашнее вино. И над всем этим витал дух Матери, словно и она была рядом с ними – неутомимая хлопотунья-хозяйюшка. Незримая, обнимала она своих поседевших, кряжистых сыновей и им было тепло.

– За дом! – отец обрушил на стол еще крепкий кулак. – Пусть всегда под этой крышей собирается наш род.

– За дом! – грянули четверо мужчин, и духу Матери было радостно.

– Рассказывайте, как и что у вас? – утолив первый голод, спросил Отец. – Когда здесь ваши семьи, я не могу спросить. Говорите сейчас, не таясь. Как живете?

Первым взял слово старший брат. Это был худощавый, высокий мужчина лет 50-ти. Он был таким загорелым, что выгоревшие усы и волосы казались белыми. Он

работал в цеху облицовочного камня – нарезал ровные гладкие плиты, и каменная пыль навеки въелась в складки его лица.

– Живем со своей старухой, – он покатал в темных пальцах хлебный мякиш и задумался. – Нормально живем, все как у всех, дом достроили, аренду за землю выплачиваем. Жаловаться грех. Можно на следующий год и о свадьбе сына подумать. Пора уж. Да и дочка выросла. Так что, отец, Бог даст, на следующий год на свадьбу соберу вас.

– Свадьба – это хорошо, – покачал головой отец. – И работа – это хорошо. И свой дом на своей земле. Плохо, что ты жену называешь старухой. Я мать за всю жизнь старухой не назвал. Ни в глаза, ни за глаза.

– Я в шутку, – поспешил оправдаться старший, но Отец продолжал:

– Ни в шутку, ни всерьез. Оттого она и осталась красавицей. А жизнь у нас была труднее вашей.

Все согласно кивнули. Мать действительно была редкостной красавицей и, несмотря на хозяйственную сутолоку, сохранила свою красоту.

Некоторое время все сидели молча. Над столом пролетел тихий ангел.

– Ну, а ты? – обратился отец ко второму. – По-прежнему пишешь стихи?

Тот улыбнулся снисходительно. Это был респектабельный мужчина 48 лет, полноватый, лысеющий, с детскими конопушками на коротком носу. По всему видно было, что он доволен жизнью – дела его шли неплохо, он открыл собственный магазин восточных сладостей и сувениров, и торговля шла бойко. Когда-то в юности он писал стихи, печатался в местных журналах и даже хотел поступить в Литинститут, но Мать яростно воспротивилась.

– Ты сойдешь с ума! – приговаривала она сердито. – Посмотри на себя – кожа да кости, ночами не спишь, все бубнишь себе под нос что-то, то плачешь, то смеешься. Бумагу марать – не работа это для мужчины! Заболеешь – кто тебя лечить будет? На братьях повиснешь? Займись делом!

Он спорил, доказывал, говорил, что без стихов жить не может – Мать была умолима. Специально шумела и гремела на кухне, едва заметив, что у сына опять «замечательное настроение». Он жаловался, что любое вдохновение бессильно против сковородок матери. Однажды, когда он, отчаявшись, решил сжечь свои опусы и уже подносил спичку к груде бумаг во дворе, Мать бросилась к нему, как тигрица, с криком: «Не смей! Жалко!».

Бумаги он не сжег, Мать стряхнула с них пыль и спрятала где-то у себя. Но стихов он больше не писал, а вскоре и совсем охладел к творчеству. Пошел по торговой части и стал преуспевающим человеком, на радость родне. О юношеском рифмоплетстве он вспоминал со снисходительной улыбкой и старался перевести разговор на другое, будто стыдился чего-то.

– А не жаль? – как-то спросил Отец у Матери. – Может, из него поэт и вышел бы. Печатали ведь.

– Не вышел бы, – отрезала Мать и пригорюнилась. – Стихи – как песня: из сердца должны литься, а он мучился над каждым словом. Вот дерево цветет, потому что не может не цвести, вот так и стихи надо писать. Тогда они нужны и тебе, и людям. А он носился, как безумный, худой, бледный, себя изводил. Не талант это, а баловство одно! Хорошо, что выбросил из головы эту блажь. Живет сейчас – дай Бог каждому! На своем месте. А то, что написал – храню! Мой ребенок трудился, мне это дорого.

«Далеко же ты, Мать, глядела, – подумал Отец, слушая гладкий рассказ сына о торговле в магазине и успехах детей в школе. – Одним рифмоплетом стало меньше, а довольным жизнью человеком – больше».

– Давайте, дети, выпьем за Мать. Ее дух сейчас здесь, с нами. – Отец, не чокаясь, опрокинул стакан вина, закусил тушеным мясом.

Остальные последовали его примеру.

– А ты что же? – повернулся Отец к третьему и улыбнулся любяще. Третий сын больше всего походил на Мать и был самым красивым. Красота его была особенной: в обветренном лице сорокалетнего мужчины вдруг проскальзывало что-то возвышенное и хрупкое. Нос благородной формы, тонкие, но изящного рисунка губы – от всего его облика веяло свежестью. Так иногда море сквозь плотный запах йода, нефти и рыбы доносит аромат бриза и на душе становится легко и весело.

– Как у тебя? Про работу не говори, знаю, тебя любят в школе (сын работал учителем). Как твоя?

Сын промолчал. Потом начал что-то быстро говорить про то, что они с женой души не чают друг в друге, что в семье царит полное взаимопонимание, и чем быстрее он говорил, тем яснее становилось, что все это ложь.

Все давным-давно знали, что жена у него некрасивая и злая – сущая Баба-Яга, что изводит мужа и детей бесконечными придирками. Знали и то, что она давно больна какой-то женской болезнью, и от этого характер ее становится только хуже. Но что-то удерживало нестарого еще мужчину рядом с Бабой-Ягой, а что – дети ли, жалость, привычка или любовь – этого он и сам не знал и только упорно пытался уверить всех, что у него все хорошо.

Отец испытующе посмотрел на него и промолчал. Молчали и братья. Есть минуты, когда даже участливое слово жжет, как расплавленный свинец, и когда самое лучшее утешение – деликатное молчание.

Отец медленно перевел взгляд на младшего. Его жизнь была ему известна лучше других. Он постоянно был на виду. На глазах Отца он из долговязого паренька превратился в солидного отца семейства, располнел, даже стал ниже ростом и, как говорят в народе, заматерел. Был он молчаливым, неулыбчивым, но слово у него не расходилось с делом, и не было случая, когда бы он отказал кому-то в помощи. Правда, бездельников гнал в три шеи, помогал тем, кто действительно трудолюбив. В троих детях своих души не чаял, но воспитывал в строгости, с малолетства приучал к работе.

Они все сейчас сидели перед ним – его мальчики, его сыновья. Все четверо, положив перед собой на стол натруженные руки. «Как в детстве, – усмехнулся Отец, – когда Мать требовала показать чистые руки перед едой».

Четверо взрослых мужчин, а он – пятый – во главе стола, еще крепкий и сильный, а над ними дух Матери, он рядом с ними, он обнимает их за плечи и тревожно заглядывает в глаза: «Все ли в порядке? Обещайте мне, что все будет в порядке!» И Отец знает, что строже всех она спросит с него.

– За нас! – еще раз сказал Отец, и стеклянная посуда в шкафу зазвенела. – За нас. – повторил он уже мягче. – Чтобы каждый из вас пришел бы на помощь другому в трудную минуту и не обидел бы дурным или зряшным словом. Чтобы ни один из вас не посмотрел на другого свысока, и чтобы ни один из вас не унижался перед другим. Чтобы был полон жизни этот дом, и зеленел сад. Обещайте мне и Матери, чей дух сейчас среди нас.

– Аминь! – откликнулись сыновья

Все поднялись и сдвинули стаканы. Пили торжественно, прочувствуя каждый глоток.

Пятеро мужчин и шестая – женщина – Мать, так много любившая, так много трудившаяся на своем веку. Она была рядом со своими родными, она оберегала их и тревожилась за каждого.

Но синие сентябрьские сумерки, такие грустные, что сжималось сердце, вдруг засияли мягким золотым светом. Это взошла луна, озарила дом и мгновенно стало ясно – Дух Матери счастлив сейчас.

Верное решение

Она даже не подозревала, какая печаль может таиться в самых простых вещах. Улицы, по которым они когда-то ходили вместе – каждый камень отзывался теперь в ее теле болью. Афиши спектаклей, которые они смотрели вместе – они так и остались на тумбах, выцветшие, тусклые. Ветер трепал их отклеившиеся уголки. И казалось, что им тоже грустно.

Крохотное уютное кафе со смешным названием «Кибрит», в котором играли вальсы Шопена. Это она впервые привела его туда. И он полюбил это стилизованное под старину кафе с низкими сводчатыми потолками, круглыми столиками, покрытыми вместо скатертей цыганскими шальями и старым пианино в углу. «Наше кафе» – смеялся он особенным, заразительным смехом, растягивая гласные: «на-аше ка-афе-е». Сейчас она даже не могла взглянуть в его сторону ...

И все же ноги сами несли ее туда. Еще раз увидеть маленькие окна в деревянных рамах, низкие широкие подоконники. Хозяин кафе решил соригинальничать: все стены и подоконники были заставлены старыми книгами – видно, притащили макулатуру отовсюду. Любой тематики: от художественной и научной литературы до пособий по чистке ковров и ванн. Книжки, конечно, никто не читал: в кафе приходили отдохнуть, выпить чашку чая и побеседовать о том, о сем. Но сам вид книжных корешков уже настраивал на интеллектуальный лад.

И глаза его – маленькие, черные, яркие – жмурились от удовольствия, цепко впивались взглядом в названия книг. Заказ оставался нетронутым: стыл чай, заветривались пирожные – все это было неважно. Книгам навстречу открывалась его душа, улыбка расцветала на лице. Иногда она ревновала его к ним. Ну, в самом деле – сколько можно читать, когда рядом женщина?! И, вроде, не уродина! Но он взглядывал на нее так легко, так искренне и светло, что духу не хватало сердиться!

– Чай стынет! – она осторожно нарушала его книжную идиллию.

– Нет, ну вот это – настоящее чудо! Какие молодцы – так обставить кафе! Прелесть!

Он произносил это слово, когда ему было хорошо.

«Прелесть». Так он называл ее. Он учил ее слушать музыку слова. «Пре-ле-е-есть» – говорил он нараспев и каждый звук рассыпался в его горле хрустальными колокольчиками.

«Пре-ле-е-есть, пре-ле-е-есть» – сейчас звенело в ней далекое эхо и отзывалось болью.

У него были удивительные руки. Широкие, большие, но невероятно чуткие. Музыкальные. Одно их прикосновение умиротворяло.

Она невольно улыбнулась. Как многому он научил ее. Везде подыскивать верные слова, верные решения. Не просто покой, а мир и благодать разливались в ней, когда он брал ее маленькую руку в свою.

«И ничего этого больше не будет? Никогда?!» К горлу опять подкатил комок. Она с обидой посмотрела на небо. Серое, тихое – таким обычно оно и бывает зимой в этом южном городе.

«И это твое милосердие?!» – обратилась она с безмолвным вопросом к нему. Небо молчало.

Она закусила губу. Обида ширилась, закипала. Небо было бесстрастным, светлым и жестоким. Даже маленький цветок одуванчика, невесть как пробившийся сквозь асфальт, и тот закрыл лицо лепестками, как ладонями. Видно, и ему было холодно и страшно.

– Вы что-то хотели? – светловолосая девушка-официантка выглянула в окно. – Извините, мы не обслуживаем. Карантин. Но вы можете заказать, что хотите.

Она покачала головой. Милая девочка!! Что там заказывать в их кафе?! Тот же чай с печеньками можно и дома попить. Разве объяснишь ей, что век бы так просто-яла, лишь бы вобрать в себя этот волшебный воздух, который они вдыхали вместе. Что половина сердца ушла вместе с ним. Что...

Девушка еще раз взглянул на нее и отошла от окна.

Она продолжала стоять, и взгляд ее был прикован к третьему столику в центре зала. Это был их столик. Она знала каждую щербинку на нем, каждую зацепку на цыганской шали, заменяющей скатерть.

Официантка принялась стирать пыль с крышки пианино, изредка поглядывая в окно. «Наверно, решила, что сумасшедшая, – усмехнулась она. – И ее можно понять. Стоит странная тетка, битый час пялится в окно и не уходит. Ничего! Думай так, милая девочка, ты имеешь на это право. Только ты бы на моем месте тоже не ушла. Хотя не дай тебе Бог оказаться на моем месте».

Стал накрапывать дождь. Мелкий, невесомый. Легкая ледяная морось – замена снегу в этом южном городе. От ее дыхания запотело стекло, и очертания кафе стали расплывчатыми, будто призрачный корабль.

Официантка еще кинула взгляд на окно и вдруг решительным жестом откинула крышку пианино.

Да, это была та самая музыка, которая звучала год назад, когда они в последний раз были в этом кафе. Он рассказывал ей об эстетике Бродского, она перебивала его, декламировала наизусть «Письма римскому другу» и доказывала, что Бродского надо читать именно так. Он не соглашался, мягко парируя, оба смеялись, и оба знали, что это счастье. Неуловимое и прекрасное. И рядом кто-то тихо наигрывал вальс Шопена – трогательный и щемящий. До-диез-минор № 7. Их любимый.

И сейчас он летел над пространством маленького кафе, заполнял собой зимнее беззвучие. И боль не становилась меньше, но отступала, растворялась в слезах, в колючем воздухе, ледяной мороси, сером немилосердном небе. Или все-таки мило-сердном?..

«Пре-ле-е-есть! – вдруг услышала она знакомый голос. Откуда он доносился – с неба ли, или из глубины ее души – она не знала, но готова была расцеловать эту хрупкую светловолосую девочку за единственно верное решение.

Музыка стихла. Она осторожно отошла от окна и медленно зашагала по улице. И даже не подозревала, что ей смотрят вслед. Это были девушка-официантка, легкий солнечный луч, чудом пробившийся сквозь серое небо, и крошечный цветок одуванчика, протянувший свои ладони к свету.

Моя Каролина

Вот уже несколько дней писателя Немчинова не покидало томительное чувство. Все было так, как должно: и *«душа стеснялась лирическим волнением, ...пальцы просились к перу, перо к бумаге»* (А.С.Пушкин), но проходили минуты, а стихи (или проза) так свободно и не торопились течь. Появлялись какие-то наброски, обрывки, эскизы, и некоторые фразы, образы и сюжеты были очень удачны, но все это было не то. Не было лада, какого-то единого одухотворяющего начала. Куча ярких изречений – еще не печь, и цветистые слова – еще не поэма.

«*Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается*», – вспомнил Немчинов любимую бабкину половицу и усмехнулся. Бабка была хитрая – ко всякой работе подступала осторожно, будто крадучись. Все обминала, обкатывала в сердце и только потом решалась делать. Может, оттого и получались такими вкусными и румяными пирожки – один к одному, как солдатики на параде! – такими пуховыми одеяла и такими нежными песни – словно душа уносилась в небесную даль и возвращалась из нее промытой до хрустального блеска.

Но у Немчинова и сказка скоро сказываться не желала! «*Потосковать надо, помяться вначале, чтобы песня сложилась*», – говорила бабка. И действительно «тосковала» – сидела несколько дней задумчивая, нахохлившаяся, словно вслушивалась внутрь себя, потом судорожно вздыхала и заводила негромко:

Белым снегом, бе-елым снего-о-м

Ночь ме-е-тельная ту стежку заме-ела...

Вытягивала голосом так душевно, будто невидимый узор в воздухе ткала, всю долю женскую вкладывала в песню. А потом аккуратно отирала платком уголки губ и говорила строго:

– Так и любое дело делать надо, чтобы красота была. Чтобы сердце летело и плакало от умиления. А иначе – какой же прок?! Баловство только.

Ах, бабка, бабка!.. Далеко же ты глядела! Вот и сейчас не было прока от немчиновских писаний. Как он ни старался, сердце молчало, и оттого все написанное рассыпалось, как карточный домик.

Вконец разозленный, Немчинов решил уехать на природу. Такие вылазки он устраивал время от времени и называл их почему-то благорастворением воздушных. Вообще он любил иногда щегольнуть изречениями то из Библии, то из латыни, то еще из кого-то или чего-то. Это поднимало его в собственных глазах и глазах окружающих. Но как бы то ни было, удаленность от городского шума и суеты действовала на него благотворно.

Дача его друзей пустовала с осени: хозяева перебирались на нее только в июне, а до этого лишь раз в месяц наведывались проверить, все ли в порядке. Немчинов попросил разрешения пожить там неделю, быстро собрал небольшую сумку с продуктами и одеждой и отправился в путь.

Стояли последние дни зимы, обычно такие неровные в его южном крае. Собственно говоря, большая зима уже давно миновала, а сейчас было перезимье – отчаянная борьба холода с наступающим теплом. Но холод словно почувствовал: перед смертью не надышишься, и обрушивал на землю то снег, то злущий ветер, то колючую ледяную пыль – мельчайшие крупинки тумана. Пыль эта пахла йодом и странствиями – сказывалась близость моря. Но именно она и вселяла радость – значит, не за горами весна, и море, скинув серый туман, снова заблестит всеми цветами радуги.

Дача дохнула на него нежилым духом. В комнатах было сыро, и стены покрылись плесенью. Она расплзалась белыми мохнатыми волнами и напоминала экзотические цветы. Немчинов выбрал самую маленькую комнату, перетащил в нее электрическую печку и стал ждаться, пока она раскалится.

Сад за окном был тоже зябким и неуютным, но весна угадывалась уже повсюду. Она бросала на землю лазурные тени, чуть слышно звенела в тающем снеге, в мокрых и бурых стволах деревьев, в примятой и черной прошлогодней траве. Даже несколько груш, которые позабыли снять с дерева, тоже поблескивали на робком солнце сухими и морщинистыми боками, словно хвастались друг перед другом: «А мы-то еще ничего! Глядишь, может, снова соком нальемся!» Чирикали птицы. И главное! – холодными розовыми цветами уже был покрыт миндаль! Он первым, еще в феврале, открывал бал весны.

Немчинов с наслаждением вдохнул острый, льдистый воздух и тут же протянул руки к печке. Тепло разливалось по телу и что-то неуловимо прекрасное рождалось сейчас в этой еще не протопленной комнате с покрытыми плесенью стенами. Он почувствовал, что работать будет легко – вдохновение вновь накатывало на него.

И вдруг... Тьфу! Как некстати в его жизнь стало вторгаться это «вдруг»! Он услышал негромкие голоса, доносившиеся с соседней дачи. В разреженном предвесеннем воздухе они раздавались особенно отчетливо, видимо, говорили на террасе.

Спорили две женщины. Одна, судя по голосу, постарше, более усталая, другая – молодая, и, как Немчинов мгновенно предположил, – красивая. Только красивые и

самолюбивые женщины могут обладать таким нервным, звенящим и отрывистым тембром. Голос то рассыпался серебряным колокольчиком, то визжал, как стекло.

Голос постарше был бесцветным, миролюбивым, но твердым:

– Дочушка, не кипятись! Давай все обсудим спокойно. За что ты взъелась на Чернова? Что он сделал плохого? Роли твоей не отдал никому, просто предложил еще подумать, поработать. Что здесь страшного?

– Мама! – алой лентой взвивался молодой голос. – Как ты не понимаешь?! Он же издевается! Он пытается выжать из меня все соки! Я ничего не смогу сыграть, если так буду копать в каждом движении, каждое слово анализировать. Тогда от меня самой ничего не останется. Ну как тебе еще объяснить?! Роль получается, когда она мгновенно ложится на сердце! Вот я почувствовала, что Каролину надо играть именно так – безумной от любви, поглощенной любовью, я так ее и играю.

А Чернову не нравится! Хмурится, пальцами хрустит, как еще не доломал их со всем! Спрашиваю, что не так? А он: «Не знаю... Все так, но все равно не так. Что-то надо, а что – не могу понять! Измените рисунок роли!» Как изменить, что?! Если сам режиссер не может понять – так я в чем виновата?! Творческая натура, черт бы его побрал! Что хочет, сам не знает! На три дня репетиции отменил, чтобы думали над ролью. Что тут думать?

– Значит, ценит тебя как актрису, раз предлагает подумать, изменить рисунок роли. А Байрон кто?

– Русинов. Он недавно у нас, ты его не знаешь. Да не в Байроне дело, Чернов всеми доволен, кроме меня. Я тебе точно говорю – это все интриги! Он напрямую не действует, измором берет, чтобы я сама отказалась! Не дождетя!

– Конечно, не дождетя! Да успокойся ты, сейчас чаю поьем, все образуется. Расскажи мне толком, что с Каролиной?

Немчинов весь превратился в слух. Он почувствовал, даже угадал, о чем пойдет речь. Когда-то он увидел фильм «Леди Каролина Лэм», и тот заинтересовал его настолько, что Немчинов несколько месяцев серьезно изучал письма и дневники Байрона и даже собирался написать историческую повесть. Задумка потом была отодвинута, ее перекрыли другие сюжеты, но, как говорится, «мечта увяла, но не разбилась». Немчинов еще думал вернуться к повести. Или хотя бы сделать рассказ. И вот, пожалуйста, чем не новый сюжет: вывести историю Байрона и Лэм через призму разговора двух дачниц? По крайней мере, оригинально!

– Понимаешь, мама, мне надо сыграть женщину, сгорающую от любви, рас творенную в ней. Вот Каролина, аристократка, у нее добрый, любящий, очень хороший муж, но сердце ее отдано Байрону. Они встретились на каком-то светском рауте и – все! С первого взгляда ее ослепила любовь. Она не могла есть, пить, дышать без него, она готова была унижаться, вымаливая у него крохи внимания, она готова была ему служить, как собака. Байрону это вначале льстило, он писал ей чудесные письма, а потом быстро наскучило, он попытался разорвать их связь, но она стала одержимой. Ни мужа, ни близких, ни света больше не существовало для нее. Она закатывала ему истерики, сцены ревности, резала себе вены, бежала за его каретой, лишь бы только доказать свою любовь, чтобы он вновь вернул ей свою милость. Потом перестала есть, медленно сходила с ума. Весь мир отвернулся от нее, только муж жалел, терпеливо сносил все ее выходки. Но потом свекровь все же настояла на разводе, потому что поведение Каролины вредило карьере ее сына. И Каролина тихо угасла от разбитого сердца. Мама, ты понимаешь, от разбитого сердца! И я так и играю! А ему все не то, не то!!! Что он от меня хочет?! – и серебряные колокольчики в голосе вновь сменились визгливым стеклом, а затем и плачем.

– Только плакать не хватало! – голос матери звучал умиротворяюще. – Все у тебя получится. И послушай-ка, вот что я тебе скажу. Не любила эта Каролина Байрона! И вообще никого не любила!

– Как? – молодой голос от неожиданности даже перешел в сип.

– Так. И поставь ты чашку, прольешь кипяток на себя! Понимаешь, доча, – мать явно волновалась, но голос ее звучал четко, – она как Анна Каренина – ни себя, ни других не любила. И не жалела. Она даже не себя в любви, она любовь в себе любила, а это совсем другое! Пестовала свою любовь, носилась с ней, как с писаной торбой, холила, лелеяла, вот она и разрослась в ней, как ядовитый гриб, выбрасывающий во все стороны ядовитые споры! И себе жизнь отравила, и другим! Всех измучила. Любовь радость должна приносить, свет, тепло, а не губить. Вот ты говоришь – безумная от любви, поглощенная любовью – а кому от этого хорошо?..

«Но многих, захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько не зови», – всплыли в памяти Немчинова знакомые строки.

«Как часто мы читаем стихи, наслаждаемся их музыкальностью, ритмом, но не понимаем глубинного смысла. А он вдруг открывается нам совсем неожиданно, как на полотнах старых мастеров под слоем красок и лака иногда проступает другая картина», – подумалось ему.

– Как ты сказала? «Угасла от разбитого сердца», – голос матери становился все увереннее, и разреженный воздух доносил каждое слово. – Нет, доча, такое сердце разбить невозможно! Потому что оно – как сиропная жижа, в которой можно увязнуть, и которая утопит всякого, кто в нее вступит. Я Байрона не оправдываю, возможно, он просто поиграть с ней решил, честолюбие свое тешил, но, может, хорошо, что они вместе не остались! Никогда бы тогда никакого Байрона не было! Она бы за каждым шагом его следила, не дай Бог он на кого взглянул или улыбнулся – он ведь поэт, ему впечатления новые нужны, а она сцены бы ему устраивала, истерики закатывала! Или того хуже – рыдала бы постоянно: «Ах, ну конечно, я тебе неинтересна, ты ко мне привык, тебе с другими веселее». Это же с ума сойти можно!

– А что, лучше, когда мужчина по сторонам смотрит, налево и направо со всеми подряд любезничает? – съязвил молодой пылкий голос.

– Не лучше. Но тут уже выбор за женщиной. Хочет яркого и талантливого – должна знать, что на его свет многие будут слетаться. Не она одна медом намазана, есть и другие. И тенью его нельзя быть, чтобы не наскучить.

Хочет спокойствия – пусть выбирает тихого, серенького, звезд с неба хватать не будет, но сама она будет для него звездой. А так, чтобы и то, и другое – так не бывает. Я, доча, Америки не открываю, это все известно давно!

Мать перевела дух. Стало слышно, как зажурчала вода, видно, мыли посуду. В воздухе потянуло жареной картошкой с мясом, и тихонько звякнули вилки.

– Может, Чернов хочет, чтобы я сыграла Каролину именно такой? – неуверенно протянула дочь. – Любящей свою любовь?

– Может... – голос матери звучал устало. – Подумай. Тебе играть... А вот кто любил ее по-настоящему – это муж. ...Жаль... – прибавила она задумчиво.

– Кого? Мужа или ее?

– Просто жаль... – взрослый голос звучал все тише. – Устала я что-то, доча, прилечь хочу. Не сиди здесь долго, простудишься. Надышались мы с тобой сегодня воздухом, на неделю весенним кислородом запаслись! Да не переживай ты, все обрывается, и сыграешь ты отлично.

Послышался звук удаляющихся шагов, и вскоре все стихло. Немчинов так и стоял, прижавшись к окну. Комната уже нагрелась, и на стенах появились мелкие капли, а от отсыревших за зиму хозяйских подушек подымался легкий пар.

Вечерело. Воздух стал совсем синим и прозрачным, и в сапфировом, еще позимнему высоком небе одна за другой зажигались звезды. Они сияли так празднично и ярко, словно тоже принарядились перед весной.

В эту же ночь Немчинов безжалостно уничтожил все наброски, эскизы и отрывки, с которыми он приехал и решительно положил перед собой белый лист бу-

маги. Он так и не научился сразу же писать на компьютере. Вначале писал от руки, и только потом набирал текст на экране.

«*Белым снегом, бе-елым снего-о-м*», – пропел он про себя бабкину песню и потер руки. Слова ее о том, что любое дело надо делать так, чтобы красота была, вспомнились ему. Сердце гулко и мерно стучало, предчувствуя миг творчества.

Немчинов писал всю ночь. Небо за окном посерело, и на востоке появилась тонкая желтая полоса. Занимался рассвет.

Писатель удовлетворенно посмотрел на небольшую кипу тонко исписанных листов. Перед ним лежал новый, только что рожденный рассказ, и бледно-золотой солнечный луч освещал его, благословляя на жизнь.

Имя рассказу было – «Моя Каролина».

Рапсодия майского дня

Эти строки я пишу ночью в тишине деревенского дома, пропахшего медом и старостью. Хозяин его, прошедший, кажется, на пасеке полжизни, крепко спит. День был трудный, а бывали ли у него легкие дни?.. Труд пчеловода тяжел и кропотлив.

Мои попутчики спят, утомленные долгой дорогой и веселой беседой. Это только кажется, что веселье дается легко и ни к чему не обязывает. Любое общение требует душевной отдачи, настройки на собеседника, и вот – вроде все легко и просто, а силы все равно уходят, потому что трудно слушать, но не слышать. Общаться бездумно, не вникая. Кто бы что ни говорил, это почти невозможно. Ну, если только не обладать потрясающим даром неуважения к собеседнику.

К счастью, мои милые спутники таким даром не обладают. Это друзья, проведенные временем и радостью, ибо чужая радость – это тот оселок, на котором правится искренность дружбы. За долгие годы общения мы вынесли главное – стараться услышать и быть деликатными друг к другу. И сейчас, когда мягкий лунный свет озаряет их обветренные лица, я думаю, что все идет так, как должно. Что именно он, тонкий лунный луч способен выразить сущность нашей дружбы – застенчивую деликатность сквозь внешнюю грубоватость.

Мне не спится. Это бывает всякий раз на новом месте. Нужно привыкнуть к ним, принять его в себя, и тогда, может быть, оно откроет тебе свою душу. Только тогда прилетят самые сладкие, самые добрые сны. Ну, а пока нас двое бодрствующих – я и хозяйская кошка Манька с такими отчаянными зелеными глазами, что сразу видно: оторва и рулевая. Манька удобно устроилась на железной печке – та еще хранит тепло – и пристально поглядывает на меня. На ее серо-рыжей морде читается: «Ходить тут всякие, гостят, не спят, из-за них и глаз не сомкнешь. Не ровен час, что-нибудь сопрут!»

Спирать я ничего не собираюсь. Манька, видно, немного поверила в это и ослабила бдительность. Прикрыла глаза, уютно подобрала под себя лапы и хвост – ни дать, ни взять, бройлерная курочка – и делает вид, что дремлет. Но не дай Бог шелохнуться – зеленое суровое око устремляет свой взор на меня. Ладно, Манька, буду тише воды, ниже травы, даже бумагой не зашуршу, чтобы твой покой не нарушить. Послушаем-ка вместе голоса ночи.

В них много таинственного и доброго. Здесь ночь изменила своему классическому определению и вовсе не кажется зловещей.

Тихо стучат ходики, оставшиеся еще с незапамятных времен. Сейчас точно таких не встретишь. Темно-коричневые, с тусклым циферблатом и темными маленькими гирьками, они важно отсчитывают минуты и часы. В будущее ли?.. А может, в прошлое?.. Уж больно они старинные. И возвещая каждый новый час, они тихонько вздыхают, словно вспоминают молодость. Даже часам хочется повернуть время вспять.

Бьются о маленькие окна, затянутые по деревенскому обычаю сборчатыми занавесками, белые мотыльки. В лунном свете они кажутся кружевным туманом, живым, словно ртуть. Май в разгаре, на землю будто накинута зеленое покрывало, расписанное белым клевером, синей медуницей, желтой сурепкой и алыми маками. Ах, есть еще островки голубой вероники и оранжевых купальниц: радуга в мае не только на небе. Горят на солнце синие, золотистые, зеленые перья нарядных щурков, они летают, суетятся, щебечут, взхлеб рассказывают небесной и земной радуге друг о друге.

Но вернусь к ночи. Сейчас она накрыла землю прохладой, и та спит, набирается сил, чтобы встретить новый день и восславить весну. Все тихо, только бормочет сонный ручей вблизи дома, да изредка залает пес в будке. Но лай слабый, короткий, в один-два такта, видно, снится псине что-то тревожное.

На стене висит топор. Как сказала хозяйка, от блуда. То ли в шутку, то ли всерьез. Хозяева – верующие особого толка, исправно соблюдают все религиозные предписания. Развод у них – смертельный грех, считается, что тем самым потворствуют блуду. «Если женщина в разводе, то она даже в церковь на венчание собственных детей войти не может, считается позором», – говорит хозяйка, и в глазах ее при этом тлеет печаль. Кто знает, у кого на сердце какая боль. В каждой избушке свои погремушки...

Манька, кажется, уснула на железной дровяной печке. Такие неуклюжие сооружения я видела лишь в детстве – они мне напоминали отчего-то пауков с огромным прямоугольным телом и коленчатыми трубами-ногами. Чем не паук?.. Но столько тепла и уюта в его железном чреве, что хочется обнять его как старого знакомого. «Не пожалей своего тепла, железный старичок, глядишь, и в нашем мире прибавится доброты».

Под ногами шуршит что-то. Манька недовольно приоткрывает один глаз. Я наклоняюсь и достаю из-под лавки пучок сухой полыни. Она растет здесь повсюду, покрывая горы серо-зеленым жестким ковром, отчего те кажутся сказочными исполинами в зеленоватых доспехах.

Пучок ветхий, того и гляди рассыплется. От него пахнет пылью и печалью. Полынь используют не только как лекарственное средство, но и от сглаза. Я вспоминаю, как бабушка, разводя огонь в очаге, неизменно бросала в него пучок полыни, приговаривая: «Сгинь, дурной глаз, умолкните злые уста, замри злое слово. Полынь-трава, отведи от нашего очага всякое зло, всякую нечисть, мокрицу и шашель. А добро приваживай к дому. Фу! Ха! Аминь!» И стлался над бабушкиным садом, над ее руками сизоватый горький дым, и не было слаще и роднее этого полынного духа.

Часы нехотя и тихо бьют пять утра. Скоро встанет хозяин, ему ни свет, ни заря на пасеку. Надо проверить рамы, проветрить ульи, собрать цветочную пыльцу, нарезать свежего меда в сотах.

Да вот и он – кормилец семьи, мед – янтарное чудо в хрустальной вазе. А рядом вазочка поменьше с утрамбованной цветочной пыльцой. Кажется, что и стены пропитаны медовым духом. Мед, пыльца, прополис, маточное молочко – все дает пчелатруженица, благосостоянием своим обязана семья меду и благодарна ему за это.

Голоса ночи постепенно стихают. Одна за другой гаснут крупные звезды, на сером востоке появляется бледно-розовая полоса. В кухню входит заспанный хозяин. Манька потягивается недовольно на печке: разбудили царевну, видите ли...

– А вы что же, и не ложились? – удивляется хозяин. – Так вас потом разморит, весь день носом клевать будете.

Я уверяю его, что клевать носом не буду и что отлично выспалась и встала незадолго перед ним.

Врать нехорошо, конечно, но зачем же посвящать человека в причины своей бессонницы?!

– А будете яичницу с помидорами? – заговорщицки подмигивает мне хозяин. – Пока никто не встал, я сейчас ее сварганю по собственному рецепту. Помидоры свои, с огорода, без химии. Пальчики оближете. И чай заварю с горным чабрецом.

Он разжигает печку сосновыми ветками и шишками. Огонь лениво вьется по стенкам, стелется синими струйками и вдруг вспыхивает оранжевым веселым светом. В кухне пахнет смолой, медом, цветами, и запах этот тоже веселит, успокаивает.

Хозяин неспеша ставит на печку чайник и большую черную сковородку. Кидает в нее кусок сливочного масла, оно сразу же тает и мелодично шипит, словно поет.

Так же сосредоточенно хозяин надрезает крест-накрест четыре больших розовых помидора, кладет их на сковородку и накрывает ее крышкой. Сковородка неистовствует и плюется масляными брызгами. Те мгновенно вспыхивают на горячей печке и сразу превращаются в синий пахучий дым. Но вот помидоры достаточно пропеклись, шкурку с них снять легко. Я наблюдаю за отточенными движениями хозяина. Его рабочие руки на удивление легки и изящны, так виртуозно он колдует над яичницей. Очистив помидоры, он нарезает их кружками, посыпает черной солью и красным перцем и снова бросает на сковороду томиться. Те скворчат, пуская сок. Тем временем в чашку разбиваются шесть яиц, одно за другим, легко взбиваются и – вуаля! – отправляются к помидорам. Наблюдать за этим процессом – удовольствие, настолько он зрелищный и музыкальный! Манька немного волнуется, но виду не показывает, часть хозяйской еды ей положена по праву рождения в этом доме, поэтому волнение чисто символическое!

Пока ведутся приготовления, хозяин посвящает меня в тайны своей работы. Пчеловодство – целая наука, увлекательная и серьезная. Как и жизнь самих пчел: словно маленькое государство с собственными законами, правлением и чудом строительного искусства – сотами. Каждая ячейка – совершенство линий! Хозяин воодушевляется, и некрасивое лицо его становится одухотворенным. «*Понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке*»¹ – кажется, сказано про него. Все же как прекрасен может быть человек, когда он увлечен своим делом!

И вот, наконец, альфа и омега сегодняшнего утра – румяная, желто-алая скворчащая яичница на столе. Уже закипел чайник, и хозяин занят новым ритуалом – словно священнодействуя, он ополаскивает фарфоровый заварной чайник, насыпает в него черный чай, щепоть чабреца и еще каких-то сиреневых сухих цветов. «Медуница» – догадываюсь я.

Аромат от чая волшебный. Мы неторопливо, стараясь не обжечься, поглощаем свои порции. Хозяин ставит сковородку на край печки, чтобы яичница не остыла: скоро встанут завтракать и остальные.

Мы пьем чай с медом и пергой – цветочной пылью. У нее специфический терпкий вкус, но вскоре привыкаешь. Перга очень полезна – она улучшает зрение и вообще защищает от инфекций.

Завтрак наш проходит в полном молчании. И я, кажется, только сейчас понимаю смысл поговорки: «Когда я ем, я глух и нем». Верно! В ней отразилось глубокое уважение человека к плодам своего труда. Они действительно достаются потом и кровью.

Ходики нежно возвещают семь утра. Майское утро в самом расцвете. Хозяин улыбается:

– Ну, мне пора. А вы отдохните, мало ведь спали. Понравилась яичница?

Я киваю от всей души! Еще бы! Никогда не любила это блюдо, но тут, кажется, всю сковородку бы съела!

– И чай! Прелесть!

– Так пейте на здоровье. – Хозяин явно рад, но смущается. – Приятного отдыха.

¹Строчка из стихотворения И.Бродского «На смерть друга».

Он скрывается за занавеской, разделяющей вместо двери кухню и прихожую. Манька следует за ним по своим делам.

Я снова остаюсь одна. Но уже ненадолго. Сейчас появятся мои милые заспанные спутники, хозяйка дома и ее дети. День пойдет своим чередом. Очередной майский день, напоенный солнцем, легким дождем и отдыхом. А его, как и счастья, становится все меньше. Но может, оттого он сладок и памятен?..

Рассказ случайного человека

Что-то цепляющее душу?.. Не знаю. Впрочем, может, эта история сгодится.

В ней нет ничего величественного или драматического. Ни подвигов, ни душе-раздирающих страстей. Но есть в ней нечто иное. Легкое изящество печали. И чем больше нежность, разлитая в ней, тем она очаровательней. Впрочем, обо всем по порядку.

Он был старше нас на семь лет и казался очень взрослым. У него было несколько прозвищ: Рыжик, Рыжий, Косой (он чуть-чуть косил), Шомка (что это означало, так и осталось неизвестным), Оскар (звали его Аскарком, но предпочитал он себя называть Оскаром, то ли отождествляя себя с престижной премией, то ли с Оскаром Уайльдом) и, наконец – Циник.

Это подходило ему больше всего. Не было ничего, что он не мог бы высмеять или принизить, причем так филигранно, что оставалось только развести руками. От высмеиваемого предмета ли, человека, события не оставалось и камня на камне, но делалось это так элегантно, что вызывало восхищение. Бывают же люди со злым даром ниспровержения. Именно таким талантом Бог наделил его щедро: Оскар насмеялся над всем, ни с чем и ни с кем не считаясь. Раздаваемые им характеристики были метки, точны и крепко припечатывались к объекту. Так, старики у него именовались не иначе как мешки горя, дети – муравьи, красивые женщины – пчелиные матки, умные – комарихи, мужчины – пауки, скрипачи, коты и павианы (в зависимости от возраста, внешности и финансового состояния).

Если кто-то робко интересовался, отчего такие названия, то объяснения были не менее парадоксальны. И циничны так, что от них отшатывались:

– Что же такое старики, как не мешки горя? Несут в себе груз прожитой жизни, ищут, на кого бы его спихнуть. А кому нужен лишний груз? Сплошное горе!

Изрекая это, он весело поглядывал по сторонам, словно любуясь произведенным эффектом. Надо сказать, что эффект удавался. Такая откровенность ошеломляла.

Выждав положенную паузу, он невозмутимо продолжал:

– Если женщина красива, то она как пчелиная матка, вокруг которой вьются сотни трутней. И мед у нее будет всегда!

– Умная женщина – комариха. Никто не любит, вот и пустила силу в ум. А от злости – одна – пьет кровь!

– Дети как муравьи, мельтешат под ногами, мешают, а наступить нельзя – не по-людски как-то!

– Сразу видно: мужик знает себе цену! Живот вперед выпятил, а ручки и ножки тоненькие, спортом не занимается – настоящий паук!

– Весь такой возвышенный, несчастный, словно сейчас на скрипке играть начнет, чтобы его пожалели!

– А почему именно на скрипке?

– Визжит много!

Ну, и все в таком же духе...

Ему пытались подражать, но тщетно. Дар – есть дар, злой или добрый – неважно, а эпигонство – это всего лишь эпигонство, не более.

В конце концов ко многому привыкаешь. И от этого грустно. Привыкание – как душевное отупение: мысли и чувства становятся вязкими и безразличными.

Привыкли и мы. Ярлыки были давно навешаны: этот – добрый, этот – хитрый, тот – серьезный, а Оскар – циник. Роли в нашем маленьком театре жизни под названием общий двор были распределены.

И ночь сменяла день, и день заступал на место ночи, и текло время, но мало что менялось в нашем дворе. Лишь темнее становились кипарисы, высаженные вдоль белых стен домов, да и сам их белый цвет постепенно выцветал.

Но видно, иногда и Бог устаёт от однообразия и устраивает людям сюрпризы. Может, хочет позабавиться, а может, другая у него цель.

Одним словом, захотел он, чтобы с Оскара как-то слетела маска циника. Совсем ненадолго. Словно на секунду с глухим скрипом приоткрылся неведомый цветок, и сразу же наглухо затворился вновь.

Это случилось ранней осенью, когда воздух еще по-летнему густой и синий, а нагретые солнцем ящики с фруктами исходят душистым паром.

Еще плыла жара вдоль мягкого асфальта, и уличные торговцы с бронзовыми лицами яростно отмахивались от мух и ос. Но небо ночью уже было по-осеннему высоким, и звезды горели тускло. Все звуки и голоса, особенно в предутреннюю пору, гулкие и словно прозрачные, а это верная примета осени.

В такую пору плохо спится. Организм перестраивается на холодное время года. Я вышел пройтись. Было около шести часов утра, и улицы были безлюдны.

Оскар жил на Платановой улице, около старого парка. Сейчас там давно новые здания, но тогда были двухэтажные дома в стиле сталинского ампира, с неизменными звездами, колоннами. Свидетельство эпохи нелегкой и немилосердной, но в них есть своеобразная прелесть. Или это наша память набросила на них золотой флер.

Окно Оскара на втором этаже было полуоткрыто. В прозрачный воздух лилась музыка. Я узнал ее сразу. Проклятие моего детства: мальчик из интеллигентной семьи ходил на уроки музыки, и несчастный вальс Шопена до-диез-минор был заезжен им до последней ноты. Он вызывал дрожь, чесотку, омерзение – прекрасный шопеновский вальс, который вбивали в меня линейкой!

«Какая нота? Какая нота, я тебя спраш-ш-шиваю?! Ля! Ля!! Ля!!! А ты что береш-шь?! – шипела учительница музыки, и парик на ее голове вздрагивал. Я испытывал жгучее желание разлохотить этот безупречно завитый парик, но вместо этого деревянная тридцатисантиметровая линейка с оттяжкой опускалась на мои пальцы.

– Ля!! Ля, дебил! Ля!!!

Я ненавидел и Шопена, и его вальс всеми фибрами души. Отбарабанив его на экзамене, я решительно заявил родителем, что даже под страхом смертной казни и отцовской порки не пойду больше на музыку. Я стоял у пианино, словно у расстрельной стены. Родители пошумели и сдались. Ноты ненавистного Шопена и крышка пианино были захлопнуты, казалось, навсегда.

И вот сейчас я услышал эту музыку. Она звучала в хорошем исполнении, различим был каждый звук, видно, проигрыватель стоял у окна. И этот вальс был волшебным, таким прекрасным, каким никогда не был в моем детстве. И сердце мое впитывало его звуки благодарно, как сухая почва – воду. Но главное – он доносился из дома человека, с которым Шопен сочетался так же, как белый медведь с Африкой. Шопен и Оскар рядом – в это невозможно было поверить.

Он стоял у подъезда, глядя прямо перед собой. Жалкий, маленький, даже рыжие волосы его казались блеклыми.

– Чш-ш-ш-ш! – произнес он, увидев меня, и приложил палец к губам.

Я знал этот вальс по хронометражу. Еще 50 секунд, и он окончится. Улица по-прежнему была пустынна. Раздались последние аккорды.

Оскар поднял голову. Лицо его было старым и сердитым. Словно он досадовал на меня, который застал его в этот миг, и на себя, что допустил это. Он даже не пытался ёрничать по обыкновению.

– Нравится, – коротко и словно в никуда бросил он. И, резко повернувшись, зашагал в дом. Я двинулся за ним.

Он посмотрел на меня и, усмехнувшись, стал рассказывать, что Шопен сочинил этот вальс, когда был влюблен в сестру своего лицейского друга. Именно ей – Марии Водзиньской – красавице с фарфоровым личиком и темными глазами-озерами посвятил он свою бессмертную вещь. И что они были обручены и мечтали о счастье.

А потом красавица с фарфоровым личиком и темными глазами-озерами тихо и твердо решила их судьбу. Расторгла помолвку и вышла замуж за графа.

– Юзефа С-с-к-ккарбека, – подчеркнуто вежливо и ядовито произнес Оскар, словно злосчастный граф был его личным врагом.

Она была талантливой художницей и прожила довольно долгую жизнь. А у него в жизни было потом еще много увлечений. Но всю свою короткую жизнь он берег пакет, перевязанный алой лентой и надписанный кратко: «*Моя жаль*». По русски – «моя печаль». Письма от Марии. От самых первых, влюбленных и чудесных, до последнего, где она разумно объясняла, почему разрывает помолвку. «*Вы талантливы, страстны и молоды. Вам нужно нечто большее, чем могу дать вам я и серые будни семейной жизни*».

*Несчастен, кто, любя, взаимности лишен,
Несчастней те, чью грудь опустошенность гложет,
Но всех несчастней тот, кто полюбить не может
И в памяти хранит любви минувшей сон.
И вере и любви равно далекий ныне,
От смертной он бежит, не подойдет к богине,
Как будто сам себе он приговор изрек.
И сердце у него – как древний храм в пустыне,
Где все разрушил дней неисчислимый бег,
Где жить не хочет бог, не смеет – человек.¹*

Это Мицкевич. Поэт с надменным лицом и горячим сердцем. Он плакал, когда слышал музыку Шопена.

Оскар умолк. Музыка давно стихла.

– А для себя просто так ты пишешь стихи? – вдруг спросил я и сразу понял, какую глупость сморозил.

– Что за глупость?! Конечно, нет, – Оскар посмотрел на меня разочарованно. – У меня хватает ума не делать того, к чему я неспособен. Лирика – это не мое.

– А Мицкевич как же? – пискнул я. Уж больно внезапной была метаморфоза Оскара-Циника в Оскара, любящего Шопена и Мицкевича.

Он смерил меня взглядом и трудно было определить, чего в том больше: презрения или жалости ко мне как к безнадежно тупому. Через несколько секунд лицо его вновь стало непроницаемым и насмешливым.

– Я могу восхищаться тем, что мне недоступно. А говорить предпочитаю о том, что доступно не только мне, но и окружающим.

И помолчав, добавил:

– Общей массе окружающих.

И медленно, чуть вразвалочку пошел прочь от меня Солнце уже вовсю наяривало. Он любил ходить по солнечной стороне улицы.

Я остался стоять в тени его дома, обрадованный и обескураженный. Словно прикоснулся к великой тайне – человеческой душе и сразу же потерял ключи от нее.

¹ Стихотворение А. Мицкевича «Резиньяция».

Больше мы никогда о Шопене не говорили. И не вспоминали то утро. А потом наши пути разошлись.

Но и сейчас, спустя много лет, стоит мне только услышать аккорды шопеновского вальса до-диез минор, в памяти звучит:

*И сердце у него – как древний храм в пустыне,
Где все разрушил дней неисчислимый бег,
Где жить не хочет бог, не смеет – человек.*

И думается иногда: а можно ли отстроить такой храм в пустыне, где было бы легко и хорошо и Богу, и человеку?

Да и кто отстроит такой храм?..

Талисман на удачу

Credo, quia absurdum!
(Верую, ибо это абсурдно.)

Тертуллиан

– Чуки-чуки-шус-с-с! Чуки-чуки-шус-с-с! – такие загадочные звуки вылетали из горла заводной птицы.

И птица эта была подарена светлым июльским днем милой девушке Розе. Роза как нельзя лучше соответствовала своему имени. Кожа нежного розоватого оттенка, волосы светлые и на солнце переливались тоже розово-румяно, розовые ноготочки, розовая родинка на сгибе локтя. Даже в прозрачных голубых глазах вспыхивали розовые огоньки, когда девушка смотрела на огонь.

Именем царицы цветов нарекла ее тетушка почтенных лет. Бездетная незамужняя женщина имела склочный характер и, подобно старой фее из сказки о «Спящей красавице», зорко следила за каждой мелочью в жизни родственников. Не дай Бог было не пригласить ее на какое-то семейное торжество – ворчания, переходящего в змеиный шип и виртуозные проклятия, не оберешься! Да и приглашавшим тоже доставалось: то дверь ей не так открыли, то стол не так накрыли. Одним словом, когда старая карга уходила, все облегченно вздыхали.

Особенно придирчивым было отношение к детям. Почему-то тетушка не любила девочек. Узнав, что у любимого племянника ожидается дочь, она плюнула, пожевала синеватыми губами и изрекла:

– Ничего нынешние не умеют! Родить и то нормально не могут. Конечно, если в одних кружевных трусах ходить – то только девок рожать будешь (это относилось к будущей матери). Мальчикам тепло нужно. Наши матери-бабушки в панталонах с начесом ходили, поэтому и рожали каждый год сыновей, как на подбор, красавцев! А эти, пр-----ки – тьфу!!!

Причинно-следственная связь между рождением сыновей и панталонами с начесом была ясна только самой тетушке, имевшей, видимо, большие эмпирические познания в этих делах.

Тем не менее, воинственно настроенная тетушка была мгновенно покорена, как только узрела в пене розовых кружев крохотный носик-пуговку и сморщенный бутон рта.

– Наша порода! – удовлетворенно хмыкнула она. – У нас в роду некрасивых не бывало! – и бросила победно-снисходительный взгляд на молодую мать.

Та, хрупкая, невзрачная, но полная какой-то неизъяснимой прелести, потупилась и покраснела. На хрящеватом носике выступили капли пота. Испытание тетушкой, хоть и не без подколов, можно было признать зачетным.

Очередная баталия разыгралась за праздничным столом уже по приезде из роддома. Молодые родители отчаянно хотели назвать новорожденную Авророй. То ли в честь римской богини зари, то ли в честь Авроры Дюдеван, больше известной как Жорж Санд.

Остальные родственники не возражали. И только тетушка не менее отчаянно противилась этому. Отчаяние подкреплялось яростным постукиванием по столу, так что подпрыгивали чашки и блюдца, издавая совершенно «федорогоринский» звук: «а за ними блюдца, блюдца – дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля!».

– Какая она вам Аврора?! – кипятилась тетушка. – Еще чего?! Посмотрите на нее! Розовая как куколка. Цветок, а не ребенок! Роза! В общем, так! Не портьте жизнь ребенку! Называйте Розой. А иначе – вы меня знаете! Помогать не буду. Сами будете обходиться!

Декларация была не только ультимативной, но и опасной. У тетушки, помимо прорвы свободного времени и сноровистых рук, было еще одно важное преимущество – квартира! Заветные 27 метров двухкомнатной хрущевки, которые она туманно обещала отписать любимому племяннику. Естественно, когда почувствует, что Бог хочет призвать ее к себе. Чтобы туманность обещания не стала непроницаемой мглой, надо было пойти на уступку. Тем более, что июльская жара к спорам не располагала.

Новоиспеченный отец, пытаясь придать голосу больше мужественности и патетики, провозгласил:

– Ну, за нового человека! За Розу. И пусть жизнь ее всегда благоухает и цветет!

– Аминь! – гаркнули родственники и потянулись к рюмкам и тарелкам. Напуганная могучим родственным криком, малышка запищала.

– А я что говорила! – удовлетворенно сказала тетушка. – Ребенок свое имя чувствует сразу! Ах, ты моя Розочка!

Рубикон был пройден, и окаменелое сердце старой девы растоплено. Она стала рабыней Розочки, причем рабство было добровольное и восторженное. Розочка стала ее кумиром, идолом и божком на последующие годы! Ни одна наследка не вкочует так над своим цыпленком, как тетушка над Розой! Тетушка ревностно следила, чтобы Розочке доставалось все самое лучшее. Она не сдувала – она не допускала, чтобы даже тень гипотетической пылинки коснулась Розочки! Надо сказать, что и воспитанница души не чаяла в своей восторженной рабыне!

На фоне яркой тетушки родители отступили и превратились в бледные тени. Окончательное слово в семейных спорах всегда оставалось за тетушкой, а та безоговорочно поддерживала любимицу.

– А-та-та! А-та-та, вышла кошка за кота! За Кота Котовича, за Иван Петровича! – убаюкивала тетушка Розу.

– А-а-а-а! – вопила та, не желая убаюкиваться.

– Лапушка, Розочка – пугалась тетушка! – А-та-а-та-та! За Иван Петровича вышла кошка! Ты представляешь? За целого Иван Петровича!!!

Окончательно убедившись в том, что неведомая кошка вышла замуж не за половинку, а за целого Иван Петровича, Розочка умиротворенно засыпала. Тетушка еще часа полтора носила ее на руках, блаженно улыбаясь и оповещая мир о кошкном бракосочетании.

Песенка повторялась так часто, что стоило подивиться брачной неутомимости кошки и свежим поставкам Иванов Петровичей.

– Не хочет купаться – правильно и делает! – ворчала тетушка, видя, как родители тащат упирающуюся Розочку в ванную. – Здоровее будет! Вон цыгане месяцами своих детей не купают, а посмотрите, какие здоровые!

При этом тетушка махала рукой куда-то в неопределенную даль, очевидно, прозревая в ней пыльные кибитки, пестрые юбки, табачные трубки, скрипки, гитары,

медведей и чумазных ребяташек – словом, полный набор стереотипов о цыганской жизни. Родители начинали вяло препираться с тетушкой, а довольная Розочка удирала под шумок.

Через некоторое время картина повторялась диаметрально противоположно и относилась к тому, что Розочка надолго занимала ванную.

– Что вы хотите от ребенка? Она растет, ей не хочется с прыщами ходить. Долго умывается – значит, ей так нужно! И вообще, занимайтесь своими делами! На кухне тоже можно умыться! Можно подумать, у вас крана там нет!

Слава Богу, у Розы подрастал брат, и родители полностью переключились на него. Младший ребенок в семье не особо интересовал тетушку. В ее сердце цвела Роза.

Больше всего памятли были вечера, когда Роза, засыпая, прислонялась к тетушке, а та, замирая от счастья, мурлыкала любимую песню:

*Как соловей о розе
Поет в ночном саду...
Вам песня посвящается,
И вы смелей ответьте,
Ведь песнею кончается
Все лучшее на свете.*

При таком обожании Розочке ничего не оставалось делать, как вырасти «топни-ножкой». Так в старину называли хорошеньких, но очень избалованных девиц, которые привыкли всего добиваться методом «топни-ножкой». Надо сказать, что топали они так изящно и мило, что отказать им было просто невозможно.

Первое недоумение со стороны тетушки было замечено, когда Розочка объявила, что хочет поступать в театральный. Она сказала это, поигрывая подарком тетушки на 16-летие – серебряным соловьем с глазами из настоящих изумрудов. Розовое июльское солнце ударило в окна, отразилось от глаз соловья и легло на волосы девушки.

За столом повисла тишина. Родители переглянулись и посмотрели на тетушку. Девятилетний брат крутился за столом и вдруг выдал нечто невообразимое:

*Красотки, красотки, красотки кабаре,
Вы созданы лишь для наслажденья!*

Каким образом и почему ему пришло это на ум, было непонятно и совсем неожиданно. Фривольная опереточная песенка не разрядила обстановку, а наоборот сгустила ее.

Тетушка, вопреки всем ожиданиям, растерянно посмотрела на свою любимицу.

– Розочка, ты ведь так хорошо успеваешь по химии. Может, лучше на химфак?

– Театральный! – Розочкино лицо приняло выражение «топни-ножкой».

Далее последовала молниеносная смена картин на лице тетушки. От озадаченности до обескураженности и мгновенно – каменной решимости поддержать своего божка.

– А, молодец! Я всегда говорила – ты очень артистичная и талантливая. В нашей породе всегда были яркие таланты! Как пела моя бабушка! А дядя был душой компании, как танцевал!

И бросила взгляд на отца Розочки, мол, поддержи. Тот неопределенно мотнул головой.

– Ты уроки сделал? – обратилась мама к сыну. Она была спокойна, только побледнела очень.

– Нет, нет, нет еще! – завертелся-запрыгал на одной ноге мальчик.

– Так идем! – она взяла его за руку и увела из комнаты. Отец ретировался тоже.

И Розочка поступила. Особых талантов она не проявляла, но каменная уверенность тетушки в том, что любое Розочкино желание должно исполняться, сыграла свою роль. Тетушка направила всю энергию жарких молитв на осуществление Розочкиного «топни-ножкинства».

Честно сказать, артистка из Розочки вышла никакая. Да и училась ни шатко ни валко. Но тетушка была уверена, что в розовом теле ее кумира живет Сара Бернар, и готова была выцарапать глаза всякому, кто посмел бы в этом усомниться. Тетя восторженно хлопала Розочке, стоило ей только отыграть свой эпизод, а после спектаклей подносила ей самые роскошные букеты.

Невдомек было тетушке, что в театре Розочку сразу окрестили Тетя-Роза. И Бог его знает, что таилось за этим многозначительным прозвищем...

Квартира же, конечно, была отписана не любимому племяннику, а Розочке. Таково было условие тетушки, чтобы Розочка стала квартиросъемщицей. Родители, давно махнувшие рукой на тетушкины причуды, не возражали. В конце концов, для их ведь ребенка старалась женщина. Старалась – не то слово. Пласталась, всю себя бивала в Розочку.

Главных и серьезных ролей Розочке не давали после провальной Гретхен в «Фаусте». Розочка почему-то решила, что если она будет таращить глаза и сюсюкать, то приблизится к образу гетевской героини. После премьеры режиссер почесал в затылке и сказал что-то вроде того, что голубые глаза и светлые волосы – это, конечно, хорошо, но вот бы к ним еще что-то. Что именно, он не сказал, но все, кроме Розочки, поняли, что главных ролей ей больше не видать. Дамы-актрисы вздохнули с облегчением и наперебой бросились поздравлять Розочку с премьерой!

Потом Розочку занимали только в эпизодах и в детских сказках. Она негодовала; тетушка возмущалась и винила во всем злостных интриганов, безбожно губящих молодое дарование. Впрочем, неизменно добавляла:

– Взойдет еще твоя звезда, Розочка! Засияет так, что глазам будет больно от света! Все ахнут!

Глаза тетушки светились такой фанатической верой, что Розочка поневоле соглашалась и улыбалась.

Как-то зимой тетушка заболела, долго и надсадно кашляла, сказывалась застарелая астма. В один из дней она позвала к себе Розочку.

– Соловейчик у тебя? – прокашляв, спросила она. – Ну, тот, что я подарила тебе на 16 лет?

– Да, – недоуменно протянула девушка. – А что?

– Береги его. И бери с собой всякий раз, когда будешь играть серьезную роль.

Он будет твоим талисманом на удачу.

– Да кто ее даст? – Розочка скорчила плаксивую мину. – Второй сезон пустой.

– Дадут, – тетушка лежала крошечная, высохшая, но говорила тихо и твердо.

– Дадут! Скоро. Взойдет твоя звезда, Розочка моя.

Тетушки вскоре не стало. Розочке было 22 года, и она легко перенесла утрату. В молодости все переносится легче. Но тетушка оставила после себя нишу, которую ничем нельзя было заполнить. Родители давно смирились с ролью только близких родственников на фоне всепоглощающей тетушкиной любви.

Розочка похудела, и розовость стала облетать с нее как яблонь. Немного заострились черты лица, глаза стали строже и выразительней.

– Что-то в тебе новое появилось, дорогая, – сказал режиссер, случайно встретив ее в коридоре. – Встань к свету. Розочка повиновалась. – Нет, определенно, что-то новое. И глаза такие прозрачные стали, глубокие. Да уж...

И, неопределенно хмыкнув, прошествовал дальше.

Через неделю он вызвал Розочку к себе в кабинет.

– Вот что, дорогая, – тяжелый голос перекатывался валами. – Будем ставить «Маленькие трагедии». Я хочу попробовать тебя на Донну Анну. Это ответственность, ты понимаешь?

Розочка вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. После нескончаемых Аленушек, кикимор и Мальвин – Донна Анна стала чудом, в которое было страшно поверить.

– Можешь не благодарить. Иди, освежи в памяти Пушкина. Послезавтра читка. Не опаздывай.

Читки, репетиции, прогоны – простые и в костюмах, репетиции со звуком, со светом, генеральная, наконец, сдача спектакля – все прошло как упоительный красочный сон. Розочка летала от счастья и боялась спугнуть это волшебное чувство. У нее замирало сердце, когда Дон Хуан обращался к ней с вопросом:

– Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна? – и казалось, что душа ее, душа самой Розочки, и вправду соткана из небесной лазури и в ней нет и не может быть места ненависти, злобе, страданию.

И она отвечала, вложив всю силу слов в прозрачный молящий взгляд:

– Ах, если б вас могла я ненавидеть! Однако ж надобно расстаться нам.

– Откуда что взялось у Тети-Розы? – шушукались за ее спиной. – Ты смотри, как раскрылась! Глаза, голос, повадки!

– Пушка! – скептически отмахивались другие. – Случайное попадание. Легла роль на ее натуру, вот и играет. А настоящее мастерство, это когда актер все может сыграть.

Дамы-актрисы примолкли. Успехи Розочки их немного беспокоили.

Премьера прошла с оглушительным триумфом. Розочку вызывали на бис 14 раз! Когда она в черном платье, с огромными прозрачными глазами на бледном лице подходила к краю рампы, ноги ее тонули в букетах, таких же роскошных, как те, что когда-то дарила тетушка.

– Ну, за новую звезду и розу сцены! – режиссер улыбнулся собственному камбуру и поднял бокал шампанского на банкете после премьеры – Я верил в то, что из тебя выйдет толк!

Розочка смущенно улыбалась, благодарила. По всему было видно, что ей еще непривычно находиться в центре внимания.

– Чуки-чуки-шус-с-с! Чуки-чуки-шус-с-с! – вдруг раздались странные звуки, но на них в шуме и смехе никто не обратил внимания. А Розочка сжимала в холодных пальцах маленького серебряного соловейчика с изумрудными глазами – подарок тетушки.

Ночью после премьеры очень уставшая и очень счастливая Розочка укладывалась спать. Мама вошла пожелать ей спокойной ночи.

– Я так рада, что у тебя все получается, – голос матери был, как всегда, ровный и спокойный. – Жаль, что тетушка не дождала. Она бы радовалась очень.

– Да, – мечтательно проговорила Розочка, засыпая. – Она всегда верила в мой талант.

Мама усмехнулась. И продолжила так же спокойно и ровно, но очень тихо:

– Тетушка очень тревожилась за тебя. И очень хотела верить в твой талант. И нас заставила поверить. И, как видно, не зря. Чудеса иногда случаются.

Но Розочка ее уже не слышала. Она крепко спала и чему-то улыбалась во сне. Около ее кровати стоял талисман на удачу – маленький серебряный соловейчик с изумрудными глазами и загадочно поблескивал в темноту ночи.